

# Золотое клеймо неудачи

## Монолог человека, который...

...вернулся из Канн без «Пальмовой ветви», но с твердым намерением сохранить свой «Вишневый сад»

«ГОРА родила мышь», — написала про фильм «Хрусталёв, машину!» парижская «Монд». «Это современный Босх», — опровергла ее «Фигаро»... «Давно не видел ничего столь невнятного и высокомерного по отношению к зрителю», — высказался известный отечественный кинокритик. «Он опережает кинематограф на пять лет, это будет классикой», — произнес во всеулыбашные президент фестивала. Однако о том, что Герман ничего не получил в Каннах, сегодня не знает только нелюбопытный. Неудача его картины нуждается в двойном осмыслении — с точки зрения места «Хрусталёва» в творчестве режиссера и с точки зрения места России в мировом кинопроцессе. Или скажем иначе: с точки зрения того, как труднопередаваемые особенности нашей жизни отражаются в глазах и умах людей, живущих на Западе.

Размышляя об этом, цитируют сегодня многих. Но одна, на мой взгляд, самая точная (и внятная русскому слуху) оценка осталась «за кадром». Ее высказал в кулуарах под занавес фестиваля знаменитый французский кинокритик. Этот фильм, сказал он, как «Вишневый сад», а нам здесь, в Каннах, нужны дачные домики...

На вопрос, почему мы не победили, можно, надув щеки, ответить так: американцы захватили все; или так: чтобы побиться в Каннах, нужны большие деньги; или еще проще: в мире потерял интерес к России... На самом деле все это (или почти все) — туфта. Просто мы предложили товар, который им купить совершенно не хотелось...

Можно презирать награды, сказал Жюль Ренар, но лучше презирать их, когда имеешь. И мне легче было бы обсуждать эту тему, если б в углу лежала эта самая золотая «Пальмовая ветвь».

Я понимал, что мы «пролетим» — и одновременно не понимал. Шесть лет назад я был членом жюри Каннского фестиваля и приблизительно знал, что требуется. Кинематографу прежде всего требуется праздник. Без этого продавать и покупать картины довольно трудно. И Канны — замечательный, прекрасно организованный праздник — с красной лестницей, кинозвездами, морем, вертолетами, которые возят по небу названия фильмов... Шоу- и кинорынок. Место, где возникают, зарабатываются и лопаются гигантские деньги. Наша тяжелая, трудная картина не просто плохо вписывалась во все это — она вызывала отторжение. После просмотра от меня отворачивались даже те, что прежде любил. Когда-то про «Лапшина» мне говорили: «Дико сложно, но здорово». Сегодня та картина кажется простой как репа. В «Хрусталёве» — принципиально другой язык. Другой даже по отношению к нашим прошлым фильмам. На много метров дальше «Лапшина».

...Мне рассказывал Товстоногов, как в Японии на серьезном спектакле Кабуки вдруг все зрители рассмеялись: получилось, что персонаж прошел сквозь стену. Но на сцене не бы-

ло никаких стен: актер просто забыл сделать жест, который обозначал, что он уходит. Для меня современный кинематограф стал похож на театр Кабуки: везде система условностей, уже архаичных... Не то чтоб мы выступили какими-то безумными революционерами. Нет, просто мы сделали картину по иным законам, чем те, которые существуют сегодня, — другой киноязык, нерасшифрованная реальность.

В «Хрусталёве» реальность нерасшифрована в той же мере, в какой она нерасшифрована в жизни. И так же, как мы, опираясь на свои опыт, интуицию, ощущение контекста времени, характеров и обстоятельств, порой мучительно, вслепую пытаемся ориентироваться в бытии, так и зрителю предлагается прожить два с лишним часа рядом с героем фильма, Генералом, сильным, умным, все понимающим человеком...

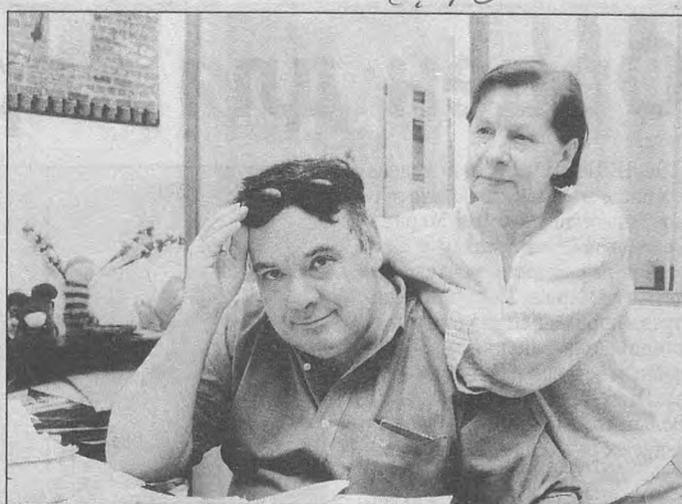
— Меня упрекнули в том, что в фильме «неярко выражена антисталинская позиция». Но мы не занимаемся «позициями». Мы просто рассказываем — а вы судите. В этой истории нам было важно, как быстро из любого человека — уважаемого, благополучного — можно сделать ничто, стонущее животное. И Сталин, властелин полумира, наедине с единственным существующим на свете демократическим институтом — смертью, тоже ничто, жалкий старик, подыхающий в собственном дерьме...

В картине у нас есть старуха, которая говорит: я столько помню, столько знаю, — как жаль, что это уйдет вместе со мной... Это мое ощущение. Режиссер существует не только для того, чтобы усилия всех остальных в съемочной группе не пропали даром, но и для того, чтоб из смутных потемок своей души вытащить на свет Божий (один делает это с легкостью, другой, отхаркиваясь кровью, третий, трясясь от ужаса) — нечто, что и станет фильмом, иррациональной пленочной музыкой...

### ...давно научился не отличать поражений от побед

ГЕРМАНА в эти дни не раз обвиняли в «комплексе Фишера» — страхе сделать картину хуже предшествующих. «Жизнь ушла на четыре фильма, — говорит он сам о себе, — но комплекса у меня нет». В его биографии в самом деле еще не было ни одного фильма без легенды, без трудной, долгой киносудьбы. «Проверка на дорогах» лежала на полке 15 лет. «Двадцать дней без войны» не пустили в прокат почти два года. «Лапшина» — четыре. Одного такого удара кому-то хватило бы, чтоб сломаться, спиться, бросить кино. Он стал снимать «Хрусталёва». И снимал — с бесконечными остановками — семь лет.

— История, как известно, повторяется дважды — один раз в виде трагедии (меня выгнали со студии из-за «Лапшина»), второй раз в виде комедии (меня с «Хрусталёвым» отправили в Канны, где французские и прочие критики после просмотра ставили мне единицы и двойки)... Но я Каннскому фестивалю безумно благодарен. Если бы мы туда не поехали, я б никогда не закончил эту картину. Теперь я хоть спать могу без снов творного.



В Каннах у меня часто бывало ощущение, что время обратилось вспять. В конце 80-х я выехал с «Лапшиным» на Запад. Какой-то человек купил его для показа в Нью-Йорке. Меня поселили в шикарном четырехкомнатном номере с видом на Централ-парк. Назавтра вышел номер «Нью-Йорк Таймс», и картина была уничтожена, размазана в дым. «Где концлагерь, где аресты, — писали они, — где коллективизация, где весь этот ужас?!» В тот же день меня перевели в однокомнатный номер; пригласивший меня человек не знал, как от меня избавиться... Там так и не поняли, что фильм про корабль дураков, которые любят, мечтают, которые прекрасны, а их всех убьют. История, рассказанная в «Хрусталёве», тоже вся — на наших знаках. И оказалось, в мире про нас просто ничего не знают. Не знают, что у нас был (и есть) антисемитизм, что были процессы врачей, что огромное количество людей уничтожили уже после войны. Мы про них знаем все, а они про нас — нет... Что им пенное, которое человек надел и оказался Берией? Как объяснить, почему еврейские девочки прячутся в шкафу, когда в дом входят незнакомые люди?

Но самое поразительное, в Каннах я слышал те же самые слова и советы, которые слышу всю свою жизнь: «Непонятно», «Надо прояснить!». Сделать это проще простого, но кино — не «Макдоналдс», оно рассчитано на напряжение, на то, что с тобой что-то в зале должно произойти...

У меня в жизни часто получалось, как в том анекдоте, где мужик молится и говорит: «Господи, у Петьки все так хорошо, у Ваньки тоже хорошо, почему ж у меня так плохо?» А Бог выглядывает из-за облаков и говорит: «Ну не люблю я тебя!» Ну не фестивальный я человек! Первый и последний раз я в это ввязался.

### ...должен продолжать снимать кино

...Я СИЖУ на широком диване в новом московском доме Германа и Кармалиты неподалеку от Таганки. «На этом диване умер мой отец», — вдруг говорит Герман, и от неожиданности я подскакиваю. «Его давно перебили другой материей, и теперь здесь сплю я»... В опустевшей субботней Москве волнуется очередной кинематографический съезд, а здесь, на девятом этаже «сталинского» дома, прохладно, тихо, с балкона видны золотые купола московских церквей.

...Что станет с нашим Союзом при новом руководстве, не знаю. Кино пошло на подъем, к кинематографу появился интерес, стали действовать экономические рычаги. Но никто в этом разбираться не хочет. Все чуют запах большого пирога. Кино будет подниматься. Главное, во-

время нашлись люди, чтобы возглавить подъем.

Когда-то у Хомейни спросили: вы сделали революцию, но народу при шахе в Иране жилось лучше. Как это получилось? Он ответил: а кто вам сказал, что революция делается для народа? Революция делается для аллаха!..

Кинематографисты на своем V съезде начали революционные преобразования, кинематографисты их и заканчивают. Звучат призывы, как и что нам делать. Если их послушать внимательно, выходит, надо просто вернуть Филиппа Тимофеевича Ермаша, он еще крепкий мужик. Все, что я когда-то слышал от него, я слышу и сейчас — будто не прошло пятнадцати лет: веселит народ, создавать положительный образ... Встретил на днях знакомого оператора. Счастливо улыбается, говорит: наконец-то к власти пришел настоящий русский человек! А Соловьев, говорю, разве кореец? Он сказал: «Все ж таки...» — и ушел.

Но Союз не может быть построен по этническому принципу. Если так пойдет дальше, я тотчас из Союза кинематографистов выйду... Но суть, в общем, уже не в этом.

Есть такая притча. Один человек ушел из дому, остановился на ночлег и, чтобы не заблудиться, воткнул в землю палку. Кто-то пошутит и палку переставил. И вот он вернулся в деревню — к дому, похожему на его дом, навстречу вышла женщина, похожая на его жену, и дети, похожие на его детей. И так получилось, что он остался с ними жить, но его всегда страшно тянуло домой...

У меня всегда было и есть ощущение, что я занимаюсь не своим делом, занимаю не свое место, но поскольку так вышло и жизнь кончается, я должен продолжать.

Кино Германа уже вошло в историю. И помогло нам преодолеть самые лживые наши мифы. Но мы и сегодня, пожалуй, не осознаем, чем обязаны этому человеку с повадками раблезианца и сложением Пьера Безухова. В одном из серьезнейших художников эпохи многие до сих пор склонны видеть сабвого enfant terrible, а некоторые готовы использовать каннскую ситуацию как повод для освидетствования. Что ж, кричать «распни» так свойственно толпе... Но ничего не меняется оттого, что он будто бы помечен сегодня «золотым клеймом неудачи» (Ахматова, как известно, имела в виду Бродского).

«Хрусталёв», должно быть, — последняя попытка избавить нацию, в которой высокое и низкое сплавлено нераздельно, от ночных кошмаров XX века. Попытка мощная, страстная и — беспощадная. На пороге грядущего тысячелетия остается понять, можно ли еще излечить «больного» — или уже поздно.

Марина ТОКАРЕВА

Общая газета,  
— 1998. —  
— 4-10 июня,  
— с. 10